

И.А.Кириллова

РАЗГОВОРЫ О ДОСТОЕВСКОМ С МИТРОПОЛИТОМ АНТОНИЕМ СУРОЖСКИМ

Предлагаемый вниманию читателей текст не научная статья, не строгое изложение религиозно-философских размышлений великого русского епископа XX века. Это личные воспоминания о дружеском обмене мнениями, касающимися Достоевского, который в особых культурных условиях старой эмиграции был, быть может, единственным писателем, способным помочь нам начать понимать, почему и как у нас в России произошла революция. Русские классики: Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин (до «Окаянных дней») нам описывали Россию, безвозвратно ушедшую. Один Достоевский оставался современным и своевременным. Мы его читали запоем, и в разговорах в машине, когда я везла Владыку Антония в отдаленный приход нашей сурожской епархии, мы постоянно возвращались к той или иной теме романов Достоевского или к образам героев из его Великого пятикнижия.

В 1922 г. в Западную Европу прибыли русские мыслители, философы, высланные из советской России: Бердяев, Струве, Франк, С.Булгаков, Зеньковский, Лосский, Вышеславцев, Штейнберг, Лев Шестов, Зандер, Мочульский, Кузьмина-Караваева (будущая мать Мария), отец Георгий Флоровский и другие. Из богатейшей эмигрантской литературы, редко обходившейся без обсуждения Достоевского, быть может, наиболее обстоятельными и вызывающими нас с Владыкой на размышления были монографии и статьи Бердяева: «Русская идея», «Истоки и смысл русского коммунизма» и, главное, «Мирозерцание

Достоевского», которые, как и «Пути русского богословия» отца Георгия Флоровского, были особенно близки мыслям Владыки. Для нас, первого молодежного поколения русских эмигрантов, родившихся на Западе, но живших духовно и идейно судьбами России, Бердяев говорил наиболее исчерпывающе и будоражающим мысль языком. Он указывал на Достоевского как на единственного мыслителя, способного помочь нам осознать происшедшее в России. В наших путевых раздумьях Владыка часто начинал обобщенно: «Как говорит Бердяев...», считая, что я без излишних указаний буду следовать его ссылке... Напряженность стиля, порой характерная для Бердяева, не была свойственна Владыке Антонию, но он был вполне согласен с утверждением Бердяева, когда тот писал: «Мирозерцание Достоевского есть его гениальная интуиция человеческой и мировой судьбы... идейная, познавательная, философская... Его творчество есть знание, наука о духе...»

Живя на Западе, где, как бы тепло нас ни принимали в некоторых кругах, мы все-таки оставались «иными», утверждение Бердяева, вслед за Пушкинской речью писателя, что «творчество Достоевского есть русское слово о всечеловеческом», нас не очень увлекало. Размышления Владыки Антония в основном были посвящены таким аспектам творчества автора «Братьев Карамазовых», как глубина духовно-психологического проникновения писателя в сложнейшую, порой столь коварную душу человека, созданного по образу и подобию Божию, и неотъемлемо связанному с этим роковому, трагическому дару свободы. Священная тема Достоевского: человек — была темой всего служения Владыки, сначала как врача, в военное и мирное время, а потом как священника и епископа. Его пастырское богословие отличается сродным Достоевскому прозрением в мятежную душу современного человека и перекликается со словами Бердяева: «...Достоевскому дано было познать человека в страстном, буйном, исступленном движении, в исключительной динамичности»; он «возвращает веру в человека, в глубину человека». Наши размышления сосредоточивались на духовно-психологическом изображении персонажей писателя и на неприятии Владыкой «утопического» видения добра — в образах князя Мышкина, Алеши Карамазова... У Достоевского, как писал Бердяев, «человек берется не в плоскостном измерении гуманизма, а в измерении глубины, во вновь раскрывающемся духовном мире...»

Порой наши дорожные разговоры начинались с моего рассказа ему о теориях западных достоевсковедов, которых я встречала на оче-

редных академических конференциях. Западные специалисты, будь то европейцы, американцы или англичане, работали над Достоевским как над художником, литератором в большей степени, чем над духовно-идейным мыслителем. За редкими исключениями западные ученые рассматривали «перерождение убеждений» Достоевского как психологический процесс, без его духовного значения. Известное письмо писателя Наталье Фонвизиной и его слова из него: «...я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» — приводятся ими как доказательство пожизненного безверия Достоевского. Нас с Владыкой удивляло упорство модного уже тогда атеизма («в советской критике это понятно», замечал Владыка). Мы наизусть знали предшествующие в письме слова духовного томления: «...в такие минуты жаждешь, как трава иссохшая, веры... в несчастье яснее истина». Владыка дополнял их строфами трагического псалма: «Господи! услыши молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое...» (Пс. 101: 1–2). Достоевский продолжает: «...каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить...» Назвав себя «дитя неверия», он затем пишет: «...Бог посылает мне иногда минуты в которые я совершенно спокоен...» — и завершает неким исповеданием веры: «...нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа... и не может быть». Владыка, улыбаясь, никогда не пропускал слово «симпатичнее», его «детскую неуместность», но и совершенно непосредственную, увлеченную искренность! Владыке очень близка была страстная любовь Достоевского к Христу. Христос Богочеловек был сердцем и основой его веры, Тем, через Кого мы призваны «соделаться участниками Божеского естества» (2 Петр. 1: 4). Для Владыки Достоевский был человеком, к которому так приложимы слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию» (Мк. 9: 24), и всё письмо Фонвизиной расценивалось им как воззвание Фомы: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20: 28).

О ранних, досибирских повестях Достоевского Владыка почти не говорил. Они были для него литературными произведениями определенной эпохи и жанра. Для него Достоевский был автором пятикнижия, к которому он добавлял «Записки из Мертвого Дома», «Записки из подполья» и некоторые из поздних рассказов: «Кроткую», «Бобок», «Сон смешного человека», а также отмечал удивительную точность описания шизофрении в «Двойнике». «Записки из Мертвого

Дома» — свидетельство жизни и психологии людей, отбывающих каторгу в тяжелых условиях, открывающее темные глубины народной жизни, из которых возникла слепая, жестокая революционная масса. Владыка сравнивал «Записки...» с ГУЛаговскими произведениями Солженицына, в частности с повестью об Иване Денисовиче и с главами романа «В круге первом», выделяя тонкость психологического письма у обоих писателей, пристальность наблюдений над поведением людей в условиях заключения. Он говорил о мудрости размышлений Достоевского об осторожной системе, о наказаниях, не исправляющих, а ожесточающих, и о том, насколько эти мысли до сих пор современны. О лагерных рассказах Шаламова Владыка не упоминал. Трудно сказать, насколько убедительным он находил описание пасхального говенья и празднования в Мертвом Доме. О замечательных страницах, описывающих смерть Михайлова в госпитале, он только замечал: «...если говорить о Михайлове как о хриstopодобном образе, то его следует сравнивать с описанием мертвого Христа в „Идиоте“». Владыка признавал всё огромное значение «Записок из подполья» как важнейшей, первой ступени в развитии мысли Достоевского о человеке. Любимый Владыкой отец Георгий Флоровский подводит итог мысли Достоевского с такой же лаконичностью, как это делал Владыка: «Достоевский изучает человека в его проблематике... в его свободе... Весь смысл и радость жизни для человека именно в его свободе, в волевой свободе, в этом „своеволии“ человека». Владыка не «умилялся», как он выражался, перед мечтателем, будь это герой «Белых ночей» или Раскольников. Как отец Георгий и другие религиозные мыслители ранней эмиграции, Владыка считал, что мечтатель неизменно превращается в «подпольного» и свобода завершается насильем, рабством, как утверждает Шигалев в своей страшной аксиоме: «...выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Владыка не любил «Записок из подполья», его герой, как он говорил, ему «слишком противен», но считал, что он является блестящим олицетворением того, как данная нам свобода легко переходит в разрушительное своеволие, и часто развивал тему свободы и любви. Истинная свобода невозможна без любви, истинная свобода — это любовь, это любовное уважение к свободе ближнего, это крестное жертвоприношение Христа. «Никто не отнимает у Меня жизни, но Я Сам отдаю ее свободно» (Ин. 10: 18), — неоднократно напоминал Владыка слова Спасителя. Действующие лица пятикнижия — трагические фигуры, которых Владыка, пользуясь словами отца Геор-

гия, называл жертвами «несвободной любви», любви, не уважающей свободы ближнего, как у Великого Инквизитора. Однако образы добра: князь Мышкин, Макар, Алеша, и старец Зосима — оставались неубедительными для Владыки. Они были не фигурами искупительного сострадания, а фигурами того фурьеризма, того утопического «нового христианства», которое так пленило Достоевского в юности и которое, как считали отец Георгий и Владыка Антоний, «Достоевский в своем творчестве не смог преодолеть». Указывая не только на «Братьев Карамазовых», но и на «Сон смешного человека», Владыка поддерживал отца Георгия в его мысли, что Достоевский «продолжает верить в историческое разрешение жизненных противоречий», другими словами — в царствие Божие на земле, сотворенное человеком, обретшим натуральное добро. Владыка признавал проповедуемое старцем Зосимой «обаяние деятельной любви» для многих ищущих ответ на вопросы о зле и противоречиях мира. У отца Василия Зеньковского критика, разделяемая Владыкой, выражена еще резче. Ссылаясь на размышления Алеши после смерти старца, отец Василий приводит именно те слова, на которые Владыка часто указывал как на ясное изложение «христианского натурализма» Достоевского: «Всё равно он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит... правду на земле, — и будут все святые, и будут любить друг друга... будут все как дети Божии и наступит настоящее Царство Христово». Но тогда упраздняются крестная смерть и Воскресение Христа...

Наши размышления наиболее часто и подробно останавливались на «Идиоте» и на «Братьях Карамазовых», но Владыка Антоний не обходил вниманием и «Преступление и наказание», роман, который он, как и многие читатели на западе, считал художественно наиболее совершенным.

Как врача и тонкого психолога, Владыку интересовал психологический процесс подготовки и последствий преступления, его раскрытия и особенно так называемый «шведский синдром», когда между Раскольниковым и следователем Порфирием Петровичем создается своеобразная связь взаимного притяжения. Порфирий знает, что Раскольников — убийца, и знает, что тот будет все чаще «дразнить» его своей тайной... Владыка считал описание их поединка психологически безупречным и принятие Раскольниковым наказания без раскаяния — психологически совершенно верным. О «наполеоновской» теории Владыка рассуждал мало, настолько очевидна была ее неправда,

а ее духовные последствия для Раскольникова представлялись неизбежными. Однако его интересовал образ Свидригайлова, которого в какой-то мере, как и Раскольникова, можно считать психопатом. К образу Сони Владыка относился сдержанно, и если бы не удивительная сцена чтения евангельского повествования о воскрешении Лазаря, этого прообраза того чуда, которое, как Раскольников знает в глубине души, одно может спасти его, то Владыка относился бы к ней еще более критически. Он рассматривал Соню как раннюю попытку Достоевского изобразить образ ясновидящей юродивой и ее выход на улицу как характерную черту определенного типа юродства. Женский юродивый образ более полно разработан в «Бесах», в фигуре Хромоножки. Владыка много думал о юродстве и, в частности, о его проявлении в русской истории как обличении жестокости и своеволия власть имущих. В образе Сони Владыка усматривал также черты сердобольной героини, столь излюбленной ранней романтической литературой, которые затрудняли создание органически убедительного образа, хотя Владыка, шутя, добавлял что «Раскольников навряд ли полюбил бы настоящую юродивую...».

О романе «Идиот» мы говорили много и часто. Владыка проявлял живой интерес к моей концепции образа князя Мышкина. Как известно, Достоевский хотел создать «положительно прекрасного» героя и в письмах к Софье Ивановой называл Христа как высшее совершенство, воплощение положительно прекрасного. Фактически писатель создал образ, родственный «очеловеченному Христу» Ренана в его книге «Жизнь Иисуса», которую он читал с увлечением. Соблазн образа «очеловеченного Христа» был велик для писателя, в юности увлекшегося утопическим «новым христианством», которое, как считал Владыка, перекликаясь с Флоровским, осталось «соблазном не превзойденным». Западный читатель и западная критика, особенно британская и американская, в образе Мышкина выделяют черты «натурального добра». Владыка приводил слова князя: «...я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди», подчеркивая отказ «утопического христианства» признать трагедию греха и крестного искупления. Это порождает в князе желание утверждать невинность Настасьи Филипповны, в большей степени, чем ее страстное желание искупления, ее мучительно ощущаемое чувство греховности, которое толкает ее под нож Рогожина. Князь знает это, знает, что она мучается, но не признает причины этих ее мучений. Владыка считал, что князь не знал сострадания, этого высшего проявления любви к ближнему. Ссыла-

ясь на рассказ князя о девушке Мари, Владыка подчеркивал: «Он ее не любил, а жалел...» Жалость — не сострадание, и Владыка приво-дил случай, рассказанный ему одной русской женщиной. В граждан-скую войну красные отбили у белых деревню, где скрывалась жена белого офицера с двумя маленькими детьми. Она знала, что ее ожи-дает смерть, но дети были слишком малы, чтобы бежать. Ночью к ней пришла молодая крестьянка, жительница этой деревни, и настояла на том, чтобы «поменяться местами». Ради детей жена офицера наконец согласилась. Спасшая ее женщина погибла.

Владыка сравнивал образ князя с образом героя любимой им повести французского писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника» («Journal d'un curé de Campagne»). При обсуждении по-нимания «положительно прекрасного» Владыка высоко ставил образ молодого священника. Князь, стараясь «преобразить» души детей швейцарской деревни, девушку Мари «только жалеет». Молодой кюре Бернаноса трагически «со-страдает» с греховной темнотой души де-вочки в его приходе и дочери графини, которой он старается помочь. Единственное «спасение», которое князь предлагает Настасье Филип-повне, это жениться на ней, уверяя ее, что она страдала «и из этого ада чистая вышла». Владыка ставил под вопрос всё сложное отноше-ние князя к Настасье Филипповне: было ли тут некое эротическое влечение к страданию красивой женщины? Владыка сопоставлял диалог князя с Настасьей Филипповной с мучительным духовным «поединком» кюре с графиней, «закаменевшей» во вражде с мужем и дочерью, не имевшей сил «простить Богу» смерть сына-младенца. Отвечая графине, обвиняющей Бога, взявшего у нее сына, молодой священник говорит ей: «J'ai l'expérience de la souffrance» («Я знаю, что такое страдание») и далее: «L'enfer c'est de ne plus aimer» («Ад — это больше не любить»). Князь, приводя три «притчи» о вере и кон-чая несколько сентиментальной картинкой «материной радости» на первую улыбку младенца, не смог бы изложить следующее страстное определение веры, то есть отношения человека с Богом: «Бог не вла-деет любовью. Он есть любовь. С Богом не торгуются, Ему нужно отдаться полностью. Отдайте Ему всё, и Он вам даст еще более...» И далее: «Отдайте Ему всё, отдайте Ему гордыню...» — слова, в ко-торых так нуждалась Настасья Филипповна вместо рассуждений кня-зя о ее «гордыне». Для Владыки сравнение «Идиота» с «Дневником сельского священника» выявляло утопический характер «нового хри-стианства» князя сравнительно с выстраданной кенотической верой и словами героя Бернаноса.

Совсем иное содержание раскрывалось для Владыки в трагической «исповеди» Ипполита и описании Христа в гробу на картине Гольбейна. Он выделял Ипполита, такого современного в своем бунте против всего установленного порядка вещей, природного и социального, и всё же, как многие молодые радикалы сегодня, мечтающего о чем-то лучшем, более справедливом, олицетворяемом для Ипполита в фигуре князя. Удивительны слова Ипполита: «Я с Человеком прощусь...» Несмотря на его атеизм, Ипполита тянет к образу Христа. Он с глубокой болью, страстно обсуждает страшную, трагическую картину Гольбейна и отчаяние учеников, узревших труп Спасителя, не мертвое тело, а именно труп. Владыка повторял фразу Ипполита: «...каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?.. если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?» И тут Владыка часто вспоминал труп убитой Настасьи Филипповны, прикрытый клеенкой, из-под которой видны были не голова, как надлежит, а ноги, со «стклянками ждановской жидкости» вместо свечей, и это — несмотря на то что ее имя означает «воскресшая». А тот, к кому она обращалась с надеждой на прощение за свою греховность, сидел, уже впавший в безумие рядом с Рогожиным, в трагической пародии их крестного братства. Однако, несмотря на свое критическое отношение к образу князя, Владыка считал роман «Идиот» одним из самых значительных произведений Достоевского, именно за то, что он пытался вложить в образ князя Мышкина.

О романе «Бесы» Владыка говорил мало. Прочитав его в юности, он его никогда не перечитывал, потому что «в нем слишком реально ощущается зло, сила зла». В те редкие случаи, когда мы все-таки о нем разговаривали, Владыка выделял «редкое сочетание исторического и психологического реализма с гротеском в характерах и в действии, создающее таким образом почти метафизическое ощущение жути». Изображение зла у Достоевского Владыка ставил высоко: бесы, несущие зло, такие обыкновенные, такие пошлые, такие знакомые... И при всем своем кошмарном абсурде, и при всей жестокой ворожке Петра Верховенского они все кружились и трепетали перед холодящей, демонической фигурой Ставрогина, имя которого оставалось в какой-то мере загадкой для Владыки. «Как мог Достоевский, — задавался он вопросом, — дать своему демону фамилию, состоящую из слова „крест“ (ставрос — по-гречески крест) и — „рога“?» Владыка тут расходился с Бердяевым, который видел в образе Ставрогина

«распадение необыкновенной человеческой личности». Владыка указывал на красоту Ставрогина, вызывающую «отвращение», на жуткую мертвенность его образа, на откровение «мелкого беса» Петра Верховенского, нуждавшегося во вдохновении, исходящем от самого великого демона: «...я вас никому не покажу... он есть, но никто не видел его, он скрывается» — демона, которого он облакает в образ Ивана Царевича. Ставрогин его презрительно отбрасывает, уже назвав однажды «обезьяной», тем самым намекая на его сущность как на пародию, но не останавливает ни бунта, ни убийств, организуемых Верховенским. Владыка подчеркивал, что единственная, кто прозрел истинную природу Ставрогина, — юродивая Хромоножка, хотя он ее рассматривал не столько как истинно юродивую, сколько как провидицу из народа.

Для Владыки роман «Бесы» был очень страшным произведением, идеи героев которого восходят к теоретикам русского революционного действия — Нечаеву и Ткачеву и столь ярко запечатлены в речах Петра Верховенского: «...мы сначала пустим смуту...», предсказывая столь многое из гражданской войны и последующих волн террора. Достоевский видел в Ставрогине «трагического героя». Владыка считал образ Ставрогина демоническим, соизволяющим зло. Он был для него непревзойденным в литературе воплощением мертвящей силы зла.

Владыка высоко ценил роман «Братья Карамазовы» как художественное произведение, как всегда, отмечая тонкость и глубину психологического изображения разнообразных характеров, в частности изображение двух убийц — Ивана и Смердякова, идейного и действительного, и духовные последствия отцеубийства для каждого из них. Но чаще всего замечания Владыки касались легенды о Великом инквизиторе и проповеди «деятельной любви» старца Зосимы и Алеши. Как пастырь и бывший врач, Владыка интересовался современными течениями в психоанализе, наиболее модным и популярным из которых являлся фрейдизм. Владыка естественно признавал значение Фрейда, но отвергал его узкий взгляд на человеческую психику и неприятие духовного. Карл Юнг, однако, его интересовал, и он проводил семинары на тему духовной жизни в юнгианских кружках. Мы с увлечением обсуждали соответствие некоторых юнгианских теорий о человеческих отношениях с так называемой теорией «двойничества» у Достоевского и, в частности, важную для Юнга теорию трансференции (*transference* — перенос), то есть проекции одной

личности на другую. Мы с Владыкой считали эту теорию Юнга особенно применимой в интерпретациях «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». В «Идиоте» эта проекция особенно значима в случае Ипполита и князя. Ипполит — болезненная тень, «двойник» князя. Как и князь, он страдает от смертельного недуга, как и князь, он, несмотря на свою нелюдимость, озабочен состоянием общества и человеческими взаимоотношениями, и князь для него является фигурой особого значения, возбуждая у него проекцию — то враждебно отрицательную, то положительную, даже с долей «обожания». Несмотря на ясный медицинский приговор, он обращается к князю с вопросом о его мнении, и в этом обращении сквозит нечто вроде надежды на чудо. Владыка скорее придерживался юнговского толкования их отношений, обходя молчанием «христоподобие» князя, и указывал на «редкую, разумную реакцию князя», когда он говорит Ипполиту: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье...» Второй яркий пример сильной проекции, говорил Владыка, наблюдается в письмах Настасьи Филипповны к Аглае, когда она пишет ей: «...но Вы для меня совершенство» — и в их встрече с ее неизбежно роковым исходом. Взаимоотношения главных персонажей в романах Достоевского, считал Владыка, для многих читателей, особенно на западе, часто становятся более понятными с помощью некоторых теорий Юнга,

В «Братьях Карамазовых» Владыка наиболее часто комментировал христианское мировоззрение старца Зосимы и темную картину человечества в легенде о Великом инквизиторе. Он прекрасно понимал обаяние проповеди старцем «деятельной любви», и его собственное пастырское слово о человеке исполнено той же «деятельной любви». Как и Зосима, Владыка говорил о бережной любви к животным и тварному миру, но он расходился с Зосимой в его утверждении о «безгрешности детей». Конечно, Иван прав в неприятии «единой детской слезинки», и поистине «горе оскорбившему младенца». Владыка считал педофилию «неприемлемым» грехом и тяжелой психической болезнью. Но младенец — это человек, рождающийся со всей сложностью своей индивидуальной психики, которую нам дано беречь и воспитывать, начиная с крещения младенца. Владыка принимал «поучение» Зосимы, но считал, что в нем не хватало необходимого слова о трагедии человеческой свободы и крестного искупления Христа. Говоря об этом, Владыка упоминал обвинение Достоевского Константином Леонтьевым в «розовом христианстве». Он не разделял «византизма» Леонтьева и не соглашался со всей резкостью

леонтьевской критики писателя, но рассматривал его слова как «напоминание о недосказанном Достоевским». Ему было близко суждение Флоровского о Зосиме, что «это был идеальный, или идеализированный, портрет, писанный больше всего с Тихона Задонского», которого Владыка ставил не так высоко, как, например, Максима Исповедника и его слова о любви в «Сотницах».

Владыка очень строго, даже ревниво относился к любому не евангельскому изображению Христа. Пожизненная экстатическая любовь Достоевского к Христу была созвучна любви и почитанию Христа Богочеловека у Владыки. Он мало говорил о фигуре Спасителя у Достоевского, за исключением столь современной речи атеиста Ипполита, неспособного-таки отвернуться от образа Христа. Его речь о трагической растерянности людей перед трупом Христа со следами предсмертной муки на лице на картине Гольбейна Владыка включал в перечень самых гениальных строк, написанных Достоевским. «Быть может, — говорил он, — никто не сумел так ясно выразить невыносимую оставленность человека, потерявшего Христа». Всё пастырское богословие митрополита Антония было призывом к встрече с Христом.

Второй темой его размышлений об образе Христа у Достоевского была естественно легенда о Великом инквизиторе. Как и в речи Ипполита, в легенде Владыка выделял больше изображение людей в словах Инквизитора, чем фигуру Христа. Владыке Антонию, врачу, прошедшему войну и оккупацию Франции, были хорошо знакомы люди, как их описывали Ипполит, Шигалев, Инквизитор: люди слабые, коварные... «Чем мрачнее описание человека, тем ярче и радостнее вера Христа в людей... в этих людей свободы, свободной любви...» Для Владыки эта истина была свята. Для него Достоевский был действительно самым великим, самым ясновидящим и столь нужным в наше время писателем.

Несмотря на художественные неровности в творчестве Достоевского, на спорные моменты в его политическом мышлении, Достоевский не превзойден в своем духовном и идейном историческом прозрении и реализме: «любовь через свободу и свобода через любовь». Наше поколение старой эмиграции, ее мыслящая и жившая Россией часть, жила Достоевским. Не удивительно, что мы с Владыкой Антонием во время наших путешествий неизменно размышляли о сказанном Достоевским!